

ПОРОГ И “ПОРОГОВЫЙ” ГЕРОЙ В ПОЭМЕ ГОГОЛЯ “МЕРТВЫЕ ДУШИ”

© 2008 г. В. Ш. Кривонос

В статье рассматриваются актуальные для поэтики “Мертвых душ” проблемы порога и “порогового” героя. Особое внимание уделяется функциям и семантике порога и специфике поведения “порогового” человека. Выявляется взаимосвязь таких аспектов повествования в “Мертвых душах”, как преодоление трудного порога и решение трудных задач, выбор правильного или неправильного пути, движение вниз и восхождение.

The paper deals with problems of the threshold and the “man of threshold” which are essential to the poetics of Gogol’s “Dead Souls”. A special attention is paid to functions and the semantics of the threshold and specific features of the behaviour of the “man of the threshold”. The interrelation between such aspects of the narrative in the “Dead Souls” as the crossing of the threshold or execution of difficult tasks, a choice of the right or wrong way, the descent and ascent is highlighted.

В предыстории Чичикова, изложенной в заключительной главе первого тома “Мертвых душ”, временная последовательность событий объективирует его движение к намеченной цели: “Но решился он жарко заняться службою, все победить и преодолеть” [1, с. 328]. Исследователями было отмечено такое свойство Чичикова, как подвижность во времени: “Время Чичикова линейно, направлено от прошлого к будущему. Кроме того, оно имеет важное сюжетное значение: именно биографическое время героя скрепляет отдельные сцены в единую сюжетную цепочку” [2, с. 191]. Однако говорить о биографическом времени Чичикова можно только с учетом той специфической функции, какую оно выполняет в поэме.

Повествователь знакомит читателей не с историей жизни и становления характера героя, но с историей преодоления им препятствий на пути к цели: “Но при всем том трудна была его дорога...” [1, с. 329]. И далее: “Это был самый трудный порог, через который перешагнул он” [1, с. 331]. Жить “биографической жизнью в биографическом времени” можно только “вдали от порога” (см.: [3, с. 198]). Но как раз состояние перехода определяет коллизии чичиковской биографии, где акцент сделан на “неодолимой силе его характера” [1, с. 342], позволяющей вновь и вновь *перешагивать* через трудные пороги.

Облик героя выражает и отражает его *пороговую* сущность: “...не красавец, но и не дурной наружности, ни слишком толст, ни слишком тонок; нельзя сказать, чтобы стар, однако ж и не так, чтобы слишком молод” [1, с. 9]. Как писал А. Белый, Чичиков «при помощи “ни” и “не” слит со всем общим; у него нет признаков...» [4, с. 95]. На

самом деле признаки у Чичикова есть – и описание его внешности хоть и отрицательным образом, но прямо на них указывает. Неопределенность черт фиксирует в облике героя двусмысленные и двойственные свойства “порогового” человека, который, подобно “лиминальным существам” в обряде перехода, выскальзывающим из сколько-нибудь устойчивой “сети классификаций”, “ни здесь ни там, ни то ни се...” [5, с. 169], т.е. в некоем символическом пространстве, где и не может быть никакой определенности.

Но именно такова семантика порога, который является “промежуточным пространством” [6, с. 39], “семантика как раз неопределенности и нерешенности” [6, с. 40]. Только состояние перехода оказывается для Чичикова не временным, но перманентным, почему биографическое время героя (время преодоления препятствий) не замкнуто в границах собственно биографии, но предельно активизирует идею испытания в сюжете поэмы [7, с. 139]. Новым трудным порогом становится здесь приобретение Чичиковым мертвых душ, а далее, в следующей части поэмы, как предвидит повествователь, “придется разрешить и преодолеть ему более трудные препятствия...” [1, с. 347].

Примечательно, что уже в предыстории, которая строится по схеме сюжета испытания, Чичиков предстает “пороговым” человеком, чья лиминальность подчеркивается неспособностью обрести и сохранить сколько-нибудь определенное положение и достичь состояния хотя бы житейской стабильности. Гоголевский герой действительно “...не принадлежит ни одному пространству, а лишь пересекает их” [2, с. 190]. Но он потому и обречен странствовать, что олицетворяет

собой пространство порога. Причем Чичиков не просто “пороговый” человек, но человек порога; имеется в виду не только его образ жизни, но и образ мыслей. Так что не случайно рождается в голове Чичикова “странный сюжет” [1, с. 346], основанный на покупке мертвых душ (крестьян, умерших, но числящихся по ревизской сказке, “не живых в действительности, но живых относительно законной формы...” [1, с. 49]), т.е. *предмета*, оказавшегося в силу обстоятельств в промежулке между жизнью и смертью.

В обряде перехода “лиминальность часто уподобляется смерти...” [5, с. 169]. Символической смерти может быть уподоблено и существование на пороге. В биографии Чичикова его служба описывается как череда временных смертей; основой сюжетного механизма служит здесь ритуал инициации (ср.: [8, с. 226–227]), где испытания предполагают возрождение “в новом статусе” [9, 21]. Ритм временных смертей и возрождений, переживаемых Чичиковым на пути к цели, осмыслен в предыстории как ритм потерь и приобретений, что соответствует фольклорно-мифологической логике испытаний [10, с. 12]. Испытания Чичикова (испытанию подвергается характер героя) связаны с решением им трудных задач, что вызвано необходимостью преодолевать различные препятствия (в сказке форме задачи соответствует и форма решения, определяемая и способом испытания героя [11, с. 56–57]; прообразом для такого сказочного испытания, как решение трудной задачи, явился ритуал инициации [10, с. 18]).

Специфику трудных задач определяет владеющая Чичиковым “непостижимая страсть” [1, с. 342]; биография “...демонстрирует, если так можно сказать, перипетии этой страсти, ее превратности и драматизм” [12, с. 279–280] (ср.: “Предыстория Чичикова, в сущности, представлена как история его страсти к приобретению...” [13, с. 98]). Отмеченность *самого трудного порога* получает особую значимость с учетом вектора развития страсти: “Все оказалось в нем, что нужно для этого мира...” [1, с. 331]. Речь идет о пороге на пути героя в *этот мир*, где Чичиков не просто пускается в очередную аферу, но бросает вызов законам мироздания. Противоестественность его *плана* обнажает буквальное понимание Коробочкой предложения продать мертвые души: “Нешто хочешь ты их откапывать из земли?” [1, с. 72].

В *этом мире* душа самого Чичикова, захваченного *непостижимой страстью*, изменяет собственной природе и обречена на блуждание; поездки героя символически выражают блуждания его души (“мир” в аскетическом смысле понимается как “...рассеянность души, ее блуждание вне самой себя, ее измена своей собственной приро-

де” [14, с. 226–227]; ср.: “Боримый страстью не может сам себе принести пользы, в особенности если страсть обладает им” [15, с. 112]).

Испытания служат проверкой истинности пути героя (ср. с ролью испытаний в истории Чартова [16, с. 40]), где ожидают его трудные пороги, *перешагивать* через которые побуждает владеющая им страсть. Эта страсть к приобретению осмысливается в поэме как своего рода идолопоклонство (в аскетическом смысле страсти выступают как “формы идолопоклонства” [17, с. 165]), чреватое, как и всякое идолопоклонство, омертвлением души (ср.: в биографии рассказывается, “...что это в самом деле за человек Павел Иванович, в чем же, в самом деле, тайна его души, тайна смерти этой души” [18, с. 223]).

Разделяя мир души и *этот мир*, порог становится опасным местом, связанным с нарушением запретов; перешагнуть порог – значит преодолеть мифологическую границу между живым и мертвым (см. о связанных с порогом запретах [19, с. 379]). Чичиков объясняет Коробочке, что “...души будут прописаны как бы живые” [1, с. 72], но Собакевич, сравнивая мертвых с теми, “которые числятся теперь живущими”, расхваливает умерших так, как будто дело действительно идет о живых: “вы таких людей не сыщете...” [1, с. 146].

Чичикову дано испытать не только горечь потерь, но и горечь падения, пройти через ряд временных смертей, но все это не может погасить *непостижимую страсть*, вызванную, как пронизательно заметит повествователь, “...для неведомого человеком блага” [1, с. 349]. Мифологема пути включает в себя представление о его специфической трудности: “Трудность пути – постоянное и неотъемлемое свойство; двигаться по пути, преодолевать его уже есть подвиг, подвижничество со стороны идущего подвижника, путника” [20, с. 259]. На пути к цели герой, в котором “...оказался большой ум... со стороны практической” [1, с. 323], готов преодолевать самые трудные препятствия, но *практический* ум лишен способности отличать правильный путь от неправильного и соответственно праведную цель от неправедной; приобретение оказывается несовместимо с подвижничеством.

Чичиков жалуется Манилову: “Каких гонений, каких преследований не испытал, какого горя не вкусил, а за что? за то, что соблюдал правду, что был чист на своей совести, что подавал руку и вдовице беспомощной и сироте горемыке!...” [1, с. 52]. Библейская реминисценция (ср.: “Ни вдовы, ни сироты не притесняйте...” – Исх. 22: 22) в устах героя приобретает кощунственный смысл: с образами *вдовицы* и *сироты* связано представление о наиболее уязвимых и обездоленных людях, потерпевших жизненное поражение; Чичи-

ков же привык перешагивать не только через пороги, но и через всех тех, кто встречается на его пути к цели (ср. его обращение с Коробочкой: “Из одного христианского человеколюбия хотел: вижу, бедная вдова убивается, терпит нужду...” [1, с. 77]), рассчитывая превратиться в итоге в удачливого приобретателя, победителя жизни. Слово, как и люди, служит для него средством овеществления и омертвления мира.

Движение по неправильному пути, удаляющее героя от высшей цели существования, обостряет сюжетное значение порога, связанного с превращением одного явления в другое (ср.: “Метаморфоза – едва ли не самая универсальная категория гоголевской поэтики” [21, с. 55]; верно было указано на “...сплошную превращаемость гоголевского мира, которая неизменно проявляется у него и в сюжете, и в стиле” [22, с. 11]). Значимы в этом плане эпизоды с юной блондинкой, позволившие раскрыть в характере Чичикова скрытые от него самого возможности, “дальние предвестия будущего возрождения”, которые пророчит “его способность откликаться на женскую красоту” [23, с. 112]. Ср.: “Видно, так уж бывает на свете, видно, и Чичиковы, на несколько минут в жизни, обращаются в поэтов, но слово *поэт* будет уже слишком. По крайней мере, он почувствовал себя совершенно чем-то вроде молодого человека, чуть-чуть не гусаром” [1, с. 242].

В “Мертвых душах”, на что уже обращалось внимание, травестируются и пародируются ситуации и образы пушкинских произведений. Ср.: «Что касается “Евгения Онегина”, то обращение к его тексту по большей части было связано у Гоголя с коренной переработкой образов романа» [24, с. 83]. Так, ситуация, в которую попадает Чичиков, побуждает вспомнить разговор Ленского с Онегиным об Ольге и Татьяне:

<...> “Я выбрал бы другую,
Когда б я был, как ты поэт”.
[25, с. 50]

С.Г. Бочаров комментирует мнение Онегина: «Он угадывает и выбирает поэтическую Татьяну, но с чужого для себя места “поэта”. Ибо сам он – не поэт, и это важнейшая характеристика его в романе...» [26, с. 22]. Чичикова неожиданная встреча внезапно обращает в подобие “поэта”, позволяя почувствовать себя “чуть-чуть не гусаром”, хотя, в отличие от героя пушкинского романа, сознательного выбора героини с места “поэта” совершить он не способен. Но зато, поставленный повествователем на чужое место “поэта”, он способен пережить поэтическое состояние. Однако Чичиков, подобно Онегину, не поэт и даже не гусар, как другой пушкинский герой, гусарский полковник Бурмин, чья “непростительная

ветреность” [27, с. 80] неожиданно приводит историю *метели* к счастливой развязке.

В качестве “поэта” или “гусара” Чичиков, возможно, действительно выбрал бы поэтическую блондинку, а не наметил бы себе в спутницы жизни прозаическую *бабенку* (в предыстории рассказано, что герой “подумывал о многом приятном: о бабенке, о детской...” [1, с. 336]), однако, будучи “уже средних лет и осмотнительно-охлажденного характера” [1, с. 131], оказался он *тяжеловат* “в разговорах с дамами”, “...почему блондинка стала зевать во время рассказов нашего героя” [1, с. 242–243]. Чичиков не может внезапно превратиться в “поэта” или в “гусара”, но он может преодолеть порог автоматического существования и испытать “что-то такое странное, что-то в таком роде, чего он сам не мог себе объяснить...” [1, с. 241].

Выясняется, что в герое «...была и возможность иного, человеческого, развития, и как воспоминание об этой возможности в Чичикове время от времени возникают “странные”, “противоречащие” его характеру движения» [12, с. 281]. Более того, Чичиков вообще действует на чужом для себя месте *приобретателя*, поскольку не понимает своего настоящего предназначения; на это указывает созданная им апологетическая автобиографическая легенда: “испытал много на веку своем, претерпел на службе за правду...” [1, с. 18]. Потому он и уклоняется от *своего* пути, что не ведает, к какому *благу* должна привести его владеющая им страсть (ср.: “Очевидно, что сверхъестественное начало присутствует в чичиковской страсти как потенциал, способный преобразовать ее” [13, с. 98]). Он понятия не имеет о высшей силе, скрыто и как будто против воли героя (на что указывают иррациональные душевные движения) направляющей его на другой путь, вопреки задуманному им *плану*.

Сердясь “на несправедливость судьбы” [1, с. 342], Чичиков видит в себе жертву обстоятельств: “Почему же я? зачем на меня обрушилась беда? Кто ж зевает теперь на должности? все приобретают” [1, с. 343]. Но идентификация со “всеми” оказывается в его случае ложной, так как заставляет следовать неправильным и не ему предназначенным путем. Ср.: “Не следуй за большинством на зло...” (Исх. 23: 2); т.е. не следуй слепо за *всеми* и выбирай свой путь.

Повествователь недаром считает нужным “...отдать справедливость неодолимой силе его характера” [1, с. 342]. А Муразов во втором, неоконченном томе, прямо говорит Чичикову о его настоящем призвании: “...какой бы из вас был человек, если бы так же, и силою, и терпением, да подвизались бы на добрый труд, имея лучшую цель. Боже мой, сколько бы вы наделали добра!” [1, с. 508]. В идеальной перспективе предназначе-

ние героя должно совпасть с его призванием, что радикально изменит его судьбу. Ср.: “Модель судьбы меняется как только предназначение осмысливается как призвание. <...> Предназначение ассоциируется с высшей силой, призвание – с природным даром” [28, с. 311].

По наблюдениям Ю.М. Лотмана, “...в образе Чичикова синтезируются персонажи, завещанные пушкинской традицией: светский романтический герой (вариант – денди) и разбойник” [29, с. 249]. Реконструкция пушкинских замыслов демонстрирует “возможность синтеза джентльмена и разбойника” [29, с. 242] в границах единого образа. В Чичикове парадоксально соединяются человек, преступающий нравственные и даже юридические запреты (и именно в этом смысле *разбойник*, хотя герой и уверяет, что “...привык ни в чем не отступать от гражданских законов... закон – я немею пред законом” [1, с. 50]), и потенциальный подвижник; уже предыстория обнаруживает в герое как странное тождество, так и предвидимое разделение этих начал. Отсюда и усложнение в поэме семантики порога, преодолеть который герой способен как в одном, так и в другом направлении, двигаясь как по пути зла, так и по пути добра. Такова “кризисная судьба Чичикова, совмещающего в себе полярные импульсы” [30, с. 43]; вопрос в том, каков заданный вектор этой судьбы.

Страхи пугливой Коробочки, к которой Чичиков явился “в ночное время” [1, с. 74], трансформируются в сочиненный дамами “совершенный роман”, где покупатель мертвых душ предстает кем-то “вроде Ринальда Ринальдини” [1, с. 262], романтического разбойника из произведения Вульпиуса. Ведь Чичиков, по предположению дам, “...хочет увезти губернаторскую дочку” [1, с. 264], что соответствовало расхожим представлениям о разбойничьей биографии, включающей в себя мотив “похищения возлюбленной” [29, с. 242]; ср. далее относительно обвинений дам против Чичикова [29, с. 249]. Правда, представители “мужской партии” не соглашались считать Чичикова “разбойником, наружность благонамеренная...” [1, с. 279], вообще полагая, “что похищение губернаторской дочки более дело гусарское, нежели гражданское...” [1, с. 275]. Хотя Чичикову однажды и довелось почувствовать себя *чуть-чуть не гусаром*, но для гусарских подвигов он с такой наружностью действительно не подходил.

Между тем дамский *роман*, уж слишком неправдоподобный (“Против догадки, не переодетый ли разбойник, вооружились все...” [1, с. 284]), не случайно сменяет “в некотором роде, целая поэма” [1, с. 285] о капитане Копейкине, который, не дождавшись “монаршей милости” [1, с. 286], превращается в атамана разбойничьей шайки (ср.: “воображение Коробочки впечатывается в пу-

сто поданном круге лица свой миф: о разбойнике; миф разыгрался в капитана Копейкина...” [4, с. 56–57]; в “Мертвых душах” названная повесть образует “...собственный отдельный сюжет – сюжет в сюжете” [31, с. 423]). Сопоставление в поэме *буквального* (Копейкин) и *фигурального* (Чичиков) “разбойников” [32, с. 149] призвано подчеркнуть сближающие героев проявления “...силы и масштаба характеров” [32, с. 150].

Другая странная догадка, “не есть ли Чичиков переодетый Наполеон...” [1, с. 294], также предполагает тождество характеров: Наполеон, несмотря на поражение, вновь, движимый столь же непостижимой, сколь и Чичиков, страстью, “пробирается в Россию, будто бы Чичиков, а в самом деле вовсе не Чичиков” [1, с. 294], стремясь осуществить хоть и не им, но англичанами придуманный *план*. Так что замеченное чиновниками внешнее сходство Чичикова с портретом Наполеона (см. о значении этого сходства: “Оно словно предопределяло судьбу человека, накладывало на него печать исключительности...” [33, с. 239]) имеет и характерологическую опору. Отметим важную в этом смысле связь “переодетого Наполеона” и Чичикова с мотивом преодоления *трудного порога* (как и вообще с общим для них мотивом границы [34, с. 70]; ср.: «Даже потерпевший поражение, свергнутый и сосланный на о. Эльба Наполеон должен был вернуться, “воскреснуть”, дабы в очередной раз подтвердить свою сверхъестественную природу» [33, с. 254]).

Анекдотические истории, в которых Копейкин и “переодетый Наполеон” выступают пародийными дублерами Чичикова, свидетельствуют не только о способности преодолевать разнообразные препятствия на пути к цели (не добившись *пенсии*, Копейкин решил поискать “...сам средств помочь себе” [1, с. 293]; потерпевший поражение Наполеон начинает, теперь уже с помощью англичан, новое вторжение в Россию), но и о непредсказуемых возможностях, заложенных в характере героя (Копейкин не предполагал, что станет атаманом разбойников, а Наполеон – что вновь отправится завоевывать Россию). У Чичикова, хоть он ничего и не знал о *романе*, сочиненном дамами, все-таки “вертелась в голове блондинка, воображение начало даже слегка шалить...” [1, с. 304].

Странное чувство, сделавшее “вдруг” Чичикова “чуждым всему, что происходило вокруг него” [1, с. 239] и давшее повод для толков и о кощунственном способе обогащения, и о кощунственном намерении увезти губернаторскую дочку, указывая на признаки разбойничьего антиповедения (в России с антиповедением разбойников связано было “представление о магических способах обогащения...”; “в религиозном отношении” оно было отмечено “как поведение кощунственное”

[35, с. 329, 330]), высвечивает и другой аспект разбойничьей темы, исключительно важный для потенциальной судьбы героя. Имеется в виду евангельская история о разбойнике, с которым “...в одно мгновение произошла... чудная перемена”, что побуждает “остерегаться осуждать согрешающих” [36, с. 97]. Эта история проясняет христианское понимание зла, которое “...есть как бы болезнь, как бы паразит, существующий только за счет той природы, на которой паразитирует” [37, с. 305].

Как ни пытались господа чиновники разгадать загадку происхождения и поступков героя, “что такое он именно...” [1, с. 281], но “...решилось дело тем, что никак не могли узнать, что такое был Чичиков” [1, с. 300]. Повествователь же так завершает его предысторию: “И еще тайна, почему сей образ предстал в ныне являющейся на свет поэме” [1, с. 349]. Загадочность Чичикова и тайна его изображения актуализируют в конце первого тома пороговую сущность героя, человеческое предназначение и призвание которого остается неизвестным и для него самого.

И герой не является здесь исключением, потому что таким же незнанием страдают и “многие читатели”, и все “человечество”, не раз избиравшее “искривленные, глухие, узкие, непроходимые, заносащие в сторону дороги” и не замечая открытый пред ним “прямой путь” [1, с. 301]. Сбиваясь “в сторону” и напуская “вновь слепой туман друг другу в очи” [1, с. 302], люди сами отдают себя во власть демонического зла. В биографии Чичикова повествователь, рассказывая о постигшей героя неудаче, иронически замечает: “Черт сбил с толку обоих чиновников...” [1, с. 340]. Во втором томе Чичиков вполне серьезно происками *лукавого* объясняет Костанжогло, почему “...себя никак не убережешься”: “Человек – не удержишься” [1, с. 434]. А далее, взывая к милосердию генерал-губернатора, рассказывает он, почему не уберегся и не удержался сам: “На всяком шагу соблазны и искушение... враги, и губители, и похитители. Вся жизнь была точно вихорь буйный или судно среди волн, по воле ветров. Я человек, ваше сиятельство” [1, с. 503]. Под *человеком* Чичиков подразумевает слабое и грешное существо, лишнее свободы воли и неспособное разрушить инерцию привычного существования.

Возможности так понятого *человека* измениться и возродиться ограничивает *этот мир*, куда стремится герой и где он оказывается жертвой демонического воздействия: “Сатана проклятый обольстил, вывел из пределов разума и благоразумия человеческого. Преступил, преступил” [1, с. 505]. Попыткой самооправдания становится и ссылка Чичикова на судьбу: “Досталась ли хоть одному человеку такая судьба?” [1, с. 506]. Кошунственно пародируя своим поведением библей-

ского Иова, он взывает к небу: “Где справедливость небес? Где награда за терпенье, за постоянство беспримерное?” [1, с. 507]. Однако посланные герою испытания, как и влекущая его страсть, неизвестным для него образом действительно направлены к его *благу*.

Стеная и жалуясь, Чичиков, однако, признается, что сам выбрал свою судьбу, “когда увидел, что прямой дорогой не возьмешь...” [1, с. 507]. Так что беды и поражения героя явились следствием нарушения им заповедей, извращения законов жизни и собственной человеческой природы. *Перешагивая* через все новые пороги на неправильном пути и пережив ряд временных смертей, покупатель мертвых душ не случайно оказывается в тюрьме, где ему предстоит ощутить себя мертвецом среди других мертвецов (Чичиков взывает к Муразову: “Спасите, ведут в острог, на смерть” [1, с. 504]) и где он должен почувствовать мертвенность своей души.

Будучи пространством порога и символизируя неопределенность нынешнего и будущего статуса героя, тюрьма открывает перед Чичиковым возможность как окончательной гибели, так и безусловного спасения. Тюрьме приписываются признаки могилы (см. о традиционном в литературе и в воспоминаниях сопоставлении “тюрьмы с могилой” и сравнении “тюремной жизни со смертью” [38, с. 23]), но также и своего рода монастыря (ср. уподобление в христианской традиции тюрьмы монастырю в плане искупления грехов и самоочищения [38, с. 36]).

Навестив Чичикова в тюрьме, Муразов советует ему, принимая на себя роль духовного отца: “Павел Иванович, успокойтесь, подумайте, как бы примириться с Богом, а не с людьми; о бедной душе своей помыслите” [1, с. 506]. Поспособствовав же освобождению Чичикова, он наставляет его: “Подумайте не о мертвых душах, а о своей живой душе, да и с Богом на другую дорогу” [1, с. 524]. И Чичиков готов с ним согласиться: «“Муразов прав! – сказал он, – пора на другую сторону”. Сказавши это, он вышел из тюрьмы» [1, с. 524–525].

Знаменательно, что именно здесь, в остроге, под влиянием *проповеди* Муразова, Чичикова настигают проблески раскаяния: “Какие-то неизвестные дотоле, незнакомые чувства, ему необъяснимые, пришли к нему” [1, с. 510]. И далее: “Вся природа его потряслась и размягчилась” [1, с. 513]. Перед ним открывается возможность пробуждения от мертвого сна и возвращения на предназначенный ему путь, где праведным образом жизни ему удастся восстановить утраченную связь с Богом. Правда, и на этом пути, пути возвращения к себе и спасения, героя ожидают новые *трудные пороги*, о чем свидетельствует вероятное (задуманное Гоголем) развитие сюжета

второго тома (см. о вероятности предположения ссылки Чичикова в Сибирь: [39, с. 267], где он “претерпекает воскресение и перерождение” [40, с. 399]; ср.: «Этим внутренним переворотом, из которого Чичиков вышел бы другим человеком, по-видимому, и должны были завершиться “Мертвые души”» [41, с. 186]).

В первом томе повествователь, изложив историю Плюшкина, отмечает: “Все похоже на правду, все может стать с человеком” [1, с. 182]. Поведая же читателям предысторию Чичикова, повествователь вновь констатирует: “Быстро все превращается в человеке...” [1, с. 348]. Речь идет о нравственном и духовном падении человека, об омертвлении его души. Но здесь же, в первом томе, возникает и образ лестницы (“...точно ли Коробочка стоит так низко на бесконечной лестнице человеческого совершенствования?” [1, с. 83]), иного варианта границы (о значении образа лестницы/“лестницы” у Гоголя и в святоотеческой литературе см. [41, с. 143–144]; в “Выбранных местах из переписки с друзьями” история “внутренней жизни” Гоголя раскрывается «как путь к Христу по “ступеням” духовной лестницы» [42, с. 253]; см. о значении образа лестницы в повести Гоголя “Портрет” [16, с. 42]), связанного с символическим образом пути “к достижению Небесного Царствия” [43, с. 285]. Встречающиеся на этом пути препятствия “...суть наши ступени восхождения” [43, с. 285]. Так пороги становятся ступенями.

В “Мертвых душах”, как они были задуманы писателем, герой поставлен перед выбором между падением (и порогами отмечено в сюжете поэмы его движение вниз) и восхождением. По Гоголю, именно путь восхождения отвечает природе человека, в иерархической структуре которого высшее место принадлежит живой душе. Будучи, как и всякий человек, “пределом” и “границей” между “телесным и духовным в ситуации воплощения” [17, с. 76], гоголевский герой потому и должен был выбрать именно этот путь, что он соответствует высшему замыслу о человеке.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гоголь Н.В. Собрание художественных произведений: В 5 т. 2-е изд. М.: Изд-во АН СССР, 1959. Т. 5.
2. Беспрозванный В., Пермяков Е. Из комментариев к первому тому “Мертвых душ” // Тартуские тетради. М., 2005.
3. Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. 4-е изд. М., 1979.
4. Бельй А. Мастерство Гоголя. М., 1996.
5. Тэрнер В. Символ и ритуал / Пер. с англ. М., 1983.
6. Рымарь Н.Т. О функциях границы в художественном языке // Граница как механизм смыслопорождения. Самара, 2004.
7. Тамарченко Н.Д. Русский классический роман XIX века: Проблемы поэтики и типологии жанра. М., 1997.
8. Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. М., 1976.
9. Мелетинский Е.М. О литературных архетипах. М., 1994.
10. Мелетинский Е.М., Неклюдов С.Ю., Новик Е.С., Сегал Д.М. Проблемы структурного описания волшебной сказки // Структура волшебной сказки. М., 2001.
11. Пропп В.Я. Морфология сказки. 2-е изд. М., 1969.
12. Манн Ю.В. Поэтика Гоголя // Манн Ю.В. Поэтика Гоголя. Вариации к теме. М., 1996.
13. Маркович В.М. “Задоры”, Русь-тройка и “новое религиозное сознание”. Отелеснивание духовного и спиритуализация телесного в 1-ом томе “Мертвых душ” // Wiener Slawistischer Almanach. München, 2004. Band 54.
14. Лосский Вл. Очерк мистического богословия Восточной церкви / Пер. с фр. // Мистическое богословие. Киев, 1991.
15. Отечник, составленный св. Игнатием Брянчаниновым. М., 1996 (репринтное издание).
16. Кривонос В.Ш. Семантика границы в повести Гоголя “Портрет” // Известия РАН. Серия лит. и яз. 2006. Т. 65. № 3.
17. Клеман О. Истоки. Богословие отцов Древней Церкви: тексты и комментарии / Пер. с фр. М., 1994.
18. Архимандрит Феодор (Бухарев). О героях поэмы “Мертвые души” // Н.В. Гоголь и православие: Сб. статей о творчестве Н.В. Гоголя. М., 2004.
19. Топорков А.Л. Порог // Славянская мифология: Энциклопедический словарь. 2-е изд., испр. и доп. М., 2002.
20. Топоров В.Н. Пространство и текст // Текст: структура и семантика. М., 1983.
21. Гольденберг А.Х. “Мертвые души” Н.В. Гоголя и традиции народной культуры. Волгоград, 1991.
22. Виролайнен М. Ранний Гоголь: катастрофизм сознания // Гоголь как явление мировой литературы. М., 2003.
23. Манн Ю.В. Постигая Гоголя. М., 2005.
24. Смирнова Е.А. Поэма Гоголя “Мертвые души”. Л., 1987.
25. Пушкин А.С. Евгений Онегин // Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 10 т. 4-е изд. Л., 1978. Т. 5.
26. Бочаров С.Г. О возможном сюжете: “Евгений Онегин” // Бочаров С.Г. Сюжеты русской литературы. М., 1999.
27. Пушкин А.С. Метель // Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 10 т. 4-е изд. Л., 1978. Т. 6.
28. Арутюнова Н.Д. Истина и судьба // Понятие судьбы в контексте разных культур. М., 1994.
29. Лотман Ю.М. Пушкин и “Повесть о капитане Копейкине”. К истории замысла и композиции “Мертвых душ” // Лотман Ю.М. В школе поэтического слова: Пушкин. Лермонтов. Гоголь. М., 1988.

30. Гольденберг А.Х., Гончаров С.А. Легендарно-мифологическая традиция в “Мертвых душах” // Русская литература и культура Нового времени. СПб., 1994.
31. Манн Ю.В. “Повесть о капитане Копейкине” как вставное произведение // Манн Ю.В. Поэтика Гоголя. Вариации к теме. М., 1996.
32. Лебедева О.Б. Эстетические и композиционно-структурные функции “Повести о капитане Копейкине” в поэме Н.В. Гоголя “Мертвые души” // Русская повесть как форма времени. Томск, 2002.
33. Гуминский В.М. Гоголь, Александр I и Наполеон // Наполеон. Легенда и реальность. М., 2003.
34. Кривонос В. Наполеоновский миф у Гоголя // Гоголь как явление мировой литературы. М., 2003.
35. Успенский Б.А. Антиповедение в культуре Древней Руси // Успенский Б.А. Избранные труды. М., 1994. Т. I. Семиотика истории. Семиотика культуры.
36. Иоанн Лествичник, преподобный. Лествица. Троице-Сергиева Лавра, 1991 (репринтное издание).
37. Лосский Вл. Догматическое богословие / Пер. с фр. // Мистическое богословие. Киев, 1991.
38. Ефимова Е.С. Современная тюрьма: Быт, традиции и фольклор. М., 2004.
39. Манн Ю.В. В поисках живой души. “Мертвые души”: писатель – критика – читатель. 2-е изд., испр. и доп. М., 1987.
40. Лотман Ю.М. Сюжетное пространство русского романа XIX столетия // Лотман Ю.М. В школе поэтического слова: Пушкин. Лермонтов. Гоголь. М., 1988.
41. Воропаев В.А. Гоголь над страницами духовных книг. М., 2002.
42. Гончаров С.А. Творчество Гоголя в религиозно-мистическом контексте. СПб., 1997.
43. Гоголь Н.В. Правило жития в мире // Гоголь Н.В. Собрание сочинений: В 9 т. М., 1994. Т. 6.